

Наш комбат. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://granikdaniel.ru/> Приятного чтения!

Наш комбат. Даниил Александрович Гранин

1

Они стояли на углу, все трое, ожидая меня. Издали я узнал только Володю Лазарева. Мы с ним несколько раз встречались с тех пор. И кроме того, мы с Володей были тогда закадычными друзьями. Встречались мы случайно, шумно радовались, но кто-то из нас всегда спешил, мы записывали телефоны друг друга, кричали – звони, надо собраться...

Трое мужчин стояли на углу возле закрытого овощного ларя. Они не замечали меня. Нас разделяла улица. И еще кое-что. Один из них должен был быть Рязанцев. Он тогда был политруком, кажется, второй роты. Я плохо помнил Рязанцева, я решил, что этот толстый, потный, в желтой клетчатой рубашке навывпуск и есть Рязанцев. Комбат не мог быть таким. А собственно, почему бы нет?

Недавно на аэродроме я увидел Лиду. Она шла в толпе прибывших, растрепанная, увешанная сумками, пакетами. Жидкие, давно выкрашенные волосы ее были полуседые. Наш самолет медленно тащили на взлетную. Я прильнул к стеклу. Когда мы сблизились, я понял, что это не Лида. А потом мы стали отдаляться, и она опять стала невыносимо похожа на Лиду. Что-то было в изгибе ее фигуры от Лиды. Правда, я никогда не видал Лиду в штатском. Я долго сидел, набираясь мужества перед простой мыслью: почему Лида не может стать такой?

И комбат мог стать каким угодно.

Я видел третьего, видел и не смотрел на него. Я просто видел какого-то человека. А то, что было в моей памяти комбатом, оставалось нетронутым, и я не сравнивал этих людей.

Мне захотелось повернуться и уйти, пока меня не заметили. Можно было тем же шагом пройти мимо, чуть отвернувшись к витринам. Поехать домой, сесть за работу. Я знал, как опасно встречаться после долгой разлуки с людьми, которых любил. С женщинами – другое дело. Там неизбежны всякие морщины, полнота, там ничего не поделаешь, с женщинами становится грустно, иногда по-хорошему грустно. В худшем случае удивляешься – чего ты в ней находил.

Мужчины стареют иначе. Они становятся пустыми. Из них лезут глупости, поучения и злость.

До сих пор я очень любил того, нашего комбата. И после него попадались отличные командиры, с которыми наступали, освобождали, нас встречали цветами, мы получали ордена. А с нашим комбатом были связаны самые тяжелые месяцы блокады – с октября 1941 по май 42-го. И комбата я любил больше всех.

С годами он становился для меня все лучше и совершеннее, я написал очерк о нем, вернее – о нашем батальоне, и о Володе, и о себе, но главным образом я имел в виду комбата. В этом рассказе все были хорошие, а лучше всех был комбат. На самом деле среди нас были всякие, но мне было неинтересно писать плохое о людях, с которыми вместе воевал. Через них я изумлялся своей собственной силе. Очерк мне нравился. Комбата теперь я помнил главным образом таким, каким я его написал, хотя я старался ничего не присочинять.

Тот, третий, кто должен был быть комбатом, повернулся, посмотрел на другую сторону улицы, на меня и дальше, по воскресному, полному прохожих, тротуару. Не признал. Время стерло и меня. Мы оба друг для друга были стерты до безликих встречных. Каждый из нас ушел в чужие – есть такая огромная часть мира, недоступная, а то и незамечаемая – чужие, незнакомые люди, которые безостановочно струятся мимо нас в метро, на дорогах. Многие друзья моего детства давно и, видно, навсегда скрывались в этом мире чужих.

– Здравствуйте, – сказал я, появляясь из этой безликости.

– Я ж вам говорил! – крикнул Володя.

Мы обнялись с ним. Тот, кого я считал Рязанцевым, тоже развел руки, а потом не решился, неловко хлопнул меня по локтю и сказал:

– Я бы тебя не узнал.

Третий улыбнулся, пожал мне руку. Я улыбнулся ему точно такой же настороженной, ни к чему не обязывающей улыбкой слишком долго не видевшихся людей. Сколько-то

Наш комбат. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
лет назад существовало еще время, когда б мы кинулись целоваться, прослезились.

Он посидел. Он сгорбился. Пополнел. Бостоновый костюм с большими старомодными лацканами, галстучек в голубых разводах, вельюровая шляпа, в руках авоська с каким-то пакетом – окончательно отдаляли его от того щеголеватого, стройного комбата, перетянутого в талии так, что и полушубок не полнил его. Ах, как он был красив – фуражка набекрень, смуглый нежный румянец, – наш комбат, насмешливый, молчаливый, бесстрашный.

..Старенький Володин «Москвич» вез нас к Пулкову. Зачем я поехал? То, что я помнил про ту зиму, было достаточно. И то, что я помнил про комбата.

Он сидел впереди с Володей, степенный, аккуратный, иногда оборачивался к нам, неспешно улыбаясь. Прежние черты, проступали в нем как пятна, неуместные, словно нечто постороннее, – узкие калмыцкие глаза его, смуглые длинные кисти рук и плавные жесты ими. Ничего не осталось от легкости, той безоглядной непосредственности, которую мы так любили в нем.

Рязанцев безостановочно говорил, комбат слушал его, терпеливо и холодно шурился, к чему-то примериваясь. Я вспомнил эту манеру, которой мы подражали, завораживающее спокойствие, с какой он мог сидеть под обстрелом, читать, покусывать спичку... Сколько ему было? Двадцать пять? Мальчишка. В голову не приходило, что он мальчишка. Даже Елизарову не приходило, а Елизарову было за сорок.

– Где Елизаров? – спросил я. – Что с ним?

– Какой Елизаров? – спросил Володя.

– Ты что? – воскликнул Рязанцев. – Комиссара забыл?

– Его понизили в звании, послали на пяточок, – сказал комбат. – Кажется, он погиб там.

– А почему его взяли от нас? – спросил Володя.

Комбат рассказал, как однажды, в феврале сорок второго, Елизаров предложил на случай прорыва немцев разбить батальон заранее на несколько отрядов, для ведения уличных боев внутри Ленинграда.

– Мы с ним стали обсуждать, – сказал комбат, – а при этом был Баскаков.

– Ну что с того? – спросил я.

Рязанцев положил мне руку на колено.

– Подумать только, ты был совсем мальчик. Носил кожаные штаны. А где вы теперь работаете?

Он все время путался – то «ты», то «вы». Заглядывал в глаза. Что-то в нем было неуверенное, бедственное.

– Ну и что Баскаков? – напомнил я.

– Интересно, где теперь Баскаков, – сказал Рязанцев. – Я многих уже разыскал. Хочу устроить вечер встречи. Шумиловский, начхим наш, помните? Директором трампарка работает. А Костя Сазотов, он агентом на обувной базе.

– Кем? – спросил я.

– Агентом, по части обуви.

Костя был героем батальона. Его взвод закопался в семидесяти метрах от немцев. У нас тогда все измерялось тем, кто ближе к противнику. Начхим, который обитал во втором эшелоне, – он директор, а Костя Сазотов агент по тапочкам и сандалиям. А комбат? Кажется, он работает учителем. Впрочем, какая разница. Это не имеет

Наш комбат. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
никакого отношения к тому, что было. Мы были связаны прошлым, и только прошлым.

– Что же дальше было с Елизаровым?

– Неприятности у него были... – сказал комбат. – Приклеили ему пораженческие настроения.

Вот оно как это все было. А мы-то... Никто толком не знал. Ходил какой-то слушок. Что-то, мол, нехорошее, в чем-то старик замешан, и мы не то чтоб поверили, а как-то примирились, не расспрашивали.

– Какое ж это поражение, – сказал я. – Разве мы не боялись, что немцы прорвутся? Боялись. Факт. С января мы совсем от голода доходили. Снарядов не хватало...

Комбат обернулся ко мне. Наверное, я говорил слишком громко, вознаграждая себя за то, что такие вещи мы старались в те времена не произносить вслух, даже думать об этом избегали. Рязанцев, тот поехал, мягко пояснил мне:

– В тех условиях не следовало, особенно политработнику, допускать даже мысли такой... Мы должны были укреплять дух. Баскаков обязан был. У него свои правила. Представляешь, если бы мы заранее ориентировали на поражение...

– Сукин сын твой Баскаков, – сказал я. – Ведь он не возражал. Слушал и сообщал. Вот с кем бы встретиться! Спросить его...

Комбат, прищурясь, разглядывал меня.

– Сейчас спрашивать куда как просто, – сухо сказано было, и Рязанцев подхватил удрученно:

– Задним умом многие сейчас крепки стали.

Я заспорил с Рязанцевым. Комбат не вмешивался, он молчал бесстрастно, непроницаемо.

Машина плыла по Московскому проспекту, мимо безликих, скучных новых домов с низкими потолками, мимо новых универмагов, тоже одинаковых, с одинаковыми товарами, очередями, духотой, надменными лицами продавщиц... Нет, машина шла мимо огромных светлых домов, выстроенных на пустырях, где стояли халупы, которые в войну разобрали на дрова, мимо высоких современных витрин, где было все, что угодно, и внутри в длинных прилавках-холодильниках было полно пирожных, сыров и еще всякой жратвы, мимо кафе, закусочных, воскресных парней в джинсах, девочек с мороженым, они озабоченно поглядывали вверх, где затягивало плотнее, видимо, собирался дождь.

Остановились перед светофором. Володя проводил глазами рыжую девочку в бархатных брючках.

– Ах, цыпленок!

– Не нравится мне эта мода, – строго сказал комбат. – Вульгарно.

Володя прищелкнул языком.

– При хорошей фигурке... А что, кавалеры, не заземлиться ли нам в ближайшей таверне. Возможны осадки, посидим в тепле. Помянем. Важно что? Что мы встретились, – и он подмигнул мне в зеркальце.

– Тоже идея, – поддержал я. У нас сразу с ним все восстановилось, как будто и не было двадцати лет.

– Дождя испугались? – сказал Рязанцев. – Небось в годы войны...

– Годы войны были суровым испытанием, – сказал Володя.

Комбат опустил стекло, посмотрел на небо.

Наш комбат. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru

– А помните, сюда мы в баню ходили, – сказал он.

– Точно, я Сеню Полесьева сюда водил! – и Володя произнес голосом Сени, чуть шепелявя: – «Первые шесть месяцев после бани чувствую себя отлично».

Я сразу вспомнил Сеню, его высоко поднятые брови, тонкую заросшую шею, его вспыльчивость и доброту.

– Если б не твой Баскаков, послали бы Полесьева переводчиком, – сказал я Рязанцеву.

– Почему мой? Какой он мой?

– До сих пор считаешь.

Рязанцев запыхтел, осторожно ударил себя в грудь.

– Мы делали общее дело. Конечно, отдельные нарушения были...

– Однополчане! – предостерегающе сказал Володя. – Разговорчики! – Ему хотелось вспоминать только веселое.

Он вез нас в ту военную зиму, к нам, молодым, не желая замечать, как мы изменились. А я видел только это, и чем дальше, тем сильнее меня раздражал Рязанцев и особенно комбат. Все в нем было не то. Все казалось в нем скучноватым, никак не соответствовало, не сходилось с тем задуманным нами когда-то. И эта обыденность, вроде бы стертость, запутанная мелкими морщинами от школьных хлопот и обязанностей, домашних забот или не домашних, а служебных, но таких же, как у всех, – чего-то уладить, добиться чьей-то подписи; эта заурядность неотличимого от всех остальных, конечно, не могла бы меня отвращать, если б он не был нашим комбатом. Но тут начинался иной счет. Наш комбат обязан был оправдать наши надежды. От него ждали блистательного будущего, траектория его жизни из той страшной зимы сорок первого угадывалась вознесенной к славе полководца, командующего армиями, к золотому сиянию маршальских звезд, или что-то в этом роде. На наших глазах он выдержал испытания и стойкостью, и мужеством, он стал нашей гордостью, нашим кумиром. Уж ему-то предназначено было достигнуть, и вот подвел, не достиг, и ведь не считает, что не достиг, вот что возмущало. Если б неудача, тогда понятно, было бы сочувствие и жалость, а так ведь чем утешился... И хотя я понимал, что мое разочарование – глупость, может, он хороший учитель, все равно, никак я не мог соединить того и этого. Ничего героического не оставалось в нынешнем. И никакой романтики.

За двадцать с лишним лет образ комбата выстроился, закаменел, он поднялся великолепным памятником, который я воздвиг на своей военной дороге, он стал для меня символом нашей героической обороны. А теперь появляется этот самозванец в небесном галстуке и заявляет, что он и есть и символ, и кумир.

Не изменялись лишь те, кто погибли. Сеня Полесьев остался таким же, как лежал на нарах между мной и Володей и рассказывал о том, какой климат был здесь под Пулковом полмиллиона лет назад. Однажды он нашел немецкие листовки и прочел их нам. Баскаков узнал, заинтересовался, откуда он знает немецкий, да еще так свободно? Может, он его в чем заподозрил, тем более что отец Сени был из дворян. Сеня вспылил: «То, что я знаю немецкий, в этом ничего удивительного, многие знают немецкий. Ленин, например, знал немецкий и Фридрих Энгельс, удивительно, что вы на такой работе не знаете немецкого».

– А ты, оказывается, штучка, – угрожающе сказал ему Баскаков.

Под вечер немцы минами накрыли пулеметный расчет за церковью. Нас вызвали к комбату. Баскаков должен был отправиться туда к пулеметчикам проверить обстановку, и комбат предложил ему взять с собой двоих из нас. Мы стояли перед ним вытянувшись, все трое. Баскаков указал на меня. Это было понятно, я знал туда дорогу. Затем ему надо было выбрать Володю или Полесьева. Комбат ждал, покусывая спичку, и я помню, как он быстро усмехнулся, когда Баскаков указал на Полесьева.

– А знаете, почему он выбрал Полесьева? – сказал Володя. – Потому что он понимал, что надежней и храбрей Семена нет.

Наш комбат. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru

– Баскаков, между прочим, сам был не из трусливых, – вставил комбат.

– Совершенно верно. При всех своих недостатках, – обрадовался Рязанцев.

Неприятно, что комбат напомнил об этом, но это было так. Я полз первым, потом мне надоело ползти, я пошел по мелкому ходу сообщения, который был мне по грудь, пошел быстро, назло Баскакову. Он тоже поднялся и шел за мной, не отставая и еще посвистывая, и оглядывался на Сеню..

– Налево, – сказал комбат Володе.

У рожицы мы остановились и вышли на шоссе. Было тепло и пасмурно.

– Кто-нибудь из вас приезжал сюда? – спросил комбат.

Несколько раз за эти годы я проезжал здесь в Пушкин, однажды в Москву и всегда оглядывался и говорил спутникам – вот тут мы воевали. Как-то мы даже остановились, я хотел показать и ничего не узнал. Шоссе было обсажено липами, вдали выросли большие белые дома. Следовало, конечно, специально разыскать наши землянки, разбитую церковь. Я как-то предложил своим, мне хотелось поводить их по здешним местам. Они согласились. «А потом хорошо бы сходить в Пулковскую обсерваторию, – сказала дочь, – я там никогда не была».

Я не понял – при чем тут обсерватория?

Она смутилась. Она была честным человеком, мы с ней дружили, и она призналась, что, конечно, с удовольствием поедет, поскольку мне это интересно.

Получалось, что я хотел поехать ради них, а они ради меня. Это было нехорошо. Что-то неверное было в моих отношениях с прошлым. Словно с человеком знаменитым и неинтересным, ничего нового от него не ждешь. Словно с родственником, которого – хочешь не хочешь – надо иногда навещать. Или с человеком, который очень хорошо, слишком хорошо тебя знает и может в чем-то упрекнуть, с человеком, перед которым надо чем-то похвастать, а хвастать-то нечем.

И вот ведь что – одному поехать – в голову мне такой мысли не приходило, то есть приходило, в виде мечтаний – мол, славно было бы поехать, поискать, вспомнить. Но ничего конкретного не думалось. А ведь чего проще приехать сюда: сесть в автобус – и за сорок минут доедешь. И нынче ведь я решил поехать главным образом потому, что Володя уговорил.

– Нет, я ни разу не был, все собирался, – сказал Володя.

Никто из нас не был.

2

Мы пошли за комбатом. Сперва по шоссе, потом свернули вниз по тропке и по каменным ступенькам. За железной оградой стоял мраморный обелиск с надписью: «Здесь похоронены защитники Ленинграда в Великой Отечественной войне 1941–45 г.». У подножья лежали засохшие венки с линялыми лентами. Комбат отворил калитку, она скрипнула пронзительно.

– Узнаете? – спросил комбат.

Мы молчали. Мы виновато оглядывались и молчали.

– Это ведь кладбище наше.

– Точно! – Рязанцев всплеснул руками. – Здесь мы хоронили Ломоносова.

– Васю Ломоносова! – Я тоже обрадовался, я вспомнил Васю – его только что приняли в комсомол. Его убили ночью, когда немцы вылазку устроили.

Наш комбат. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru

– А троих ранили.

– Верно, было дело, – сказал я, благодарный Рязанцеву за то, что он напомнил. – Мы с Володей тащили Васю сюда.

– Начисто забыл... Полное затмение, – огорченно сказал Володя.

– Ну, помнишь, Вася дал нам картошку? Они в подвале нашли штук двадцать.

– Картошку? Помню. А его не помню.. Ломоносов, – повторил он, еще более огорчаясь, – а вот Климова я тут точно хоронил.

Но Климова мы все забыли. И даже комбат не помнил. Он следил, как мы вспоминали, почти не вмешиваясь.

– За могилой–то ухаживают. Памятник сделали, – удивился Володя.

Тогда была пирамидка, и ту, поскольку она была деревянная, кто-то сломал на дрова. Елизаров нашел каменную плиту, мы притащили ее и масляными красками написали на ней. После прорыва блокады батальон ушел на Кингисепп, там появилось другое кладбище, и потом в Прибалтике было еще одно.

«Защитники Ленинграда», – те, кто ставили обелиск, уже понятия не имели про наш батальон. Жаль, что мы не догадались взять с собой цветы. Но кто знал? Комбат? Он держался с укором, как-то отчужденно, словно его дело было – показывать. Да, за могилой следили, красили изгородь, и эти венки, немного казенные на вид. Местные пионеры или еще кто, они ничего не знали о тех, кто здесь лежит. Для них – просто солдаты. Или, как теперь пишут, – воины. Мы припоминали фамилии, комбат писал их на мраморе карандашиком, у него, как и тогда, в кармашке торчал простой карандаш, тогда это было нормально, а теперь все больше ручки носят, и шариковые.

Помнил комбат куда больше, чем мы трое. Занимается воспоминаниями; наверное, больше ему и делать–то нечего. И карандашник этот старомодный.

Черные строчки наращивались столбиком.

Безуглый... Челидзе... Ващенко..

Иногда передо мной всплывало лицо, какая-то картинка, иногда лишь что-то невнятно откликалось в обвалах памяти, я звал, прислушивался, издали доносились слабые толчки, кто-то пытался пробиться ко мне сквозь толщу лет и не мог.

Кажется, здесь мы похоронили и Сеню Полесьева.

– Его ранило, в первой атаке на «аппендицит», – сообщил Володя, как будто это не знали. – Я даже помню дату – двадцать первого декабря.

– Еще бы, – сказал Рязанцев.

– Почему – еще бы? – поинтересовался я. – Что за дата?

– А ты забыл? – недоверчиво удивился Рязанцев. – Каков? – он обличающе указал на меня.

Комбат слегка хмыкнул.

– Вот как оно бывает, – Рязанцев вздохнул. – День рождения Сталина..

Я молчал.

– Считаешь, что можно не помнить такие вещи? – обиженно сказал Рязанцев.

Странно устроена человеческая память, думалось мне, потому что я помнил совсем другое.

Наш комбат. Даниил Александрович Гранин granikdanie1.ru
Пошел дождь, мелкий и ровный. Мы стали под березку. Молодая листва плохо держала воду. Комбат достал из авоськи прозрачную накидку, он один запасся дождевиком, мы сдвинулись, накрылись. Сразу гулко забарабанило, мы поняли, что дождь надолго.

– Не вернуться ли, – сказал Володя, – сам бог указывает. Примем антизнобин, посидим, а?

Стекало на спину, пиджак промок, желтые лужи пенились, вскипали вокруг нас. Не было никакого смысла стоять тут.

Рязанцев покосился на молчащего комбата.

– Может, подождем?

– Подождем под дождем, – откликнулся Володя. – Ждать не занятие для воскресных мужчин.

Следовало возвращаться. Оно и лучше. Прошлое было слишком хорошо, и не стоило им рисковать. Когда-нибудь мы приедем сюда вдвоем с Володей.

Комбат потрепал меня по плечу:

– Ничего, не сахарные.

– Что у вас за срочность? – спросил я. – Что-нибудь случилось?

Комбат смутился и сразу нахмурился.

– Ничего не случилось.

– Вы-то сюда уже приезжали?

– Приезжал.

– Так в чем же дело? Если ради нас, то не стоит, – сказал я с той заостренной любезностью, какой я научился в последние годы.

Исподлобья комбат обвел меня глазами, мой дакроновый костюмчик, мою рубашечку дрип-драй.

– Как хотите, – он перевел глаза на Рязанцева. – Ты тоже костюмчик бережешь?

Рязанцев фальшиво засмеялся, вышел под дождь, похлопал себя по бокам.

– А что, в самом деле. Не такое перенесли, не заржавеет, – он запрокинул голову, изображая удовольствие и от дождя, и от того, что подчиняется комбату. – Нам терять нечего. Нам цена небольшая.

Мы стояли с Володей и смотрели, как они поднимались по ступенькам. Володя вздохнул, поморщился.

– Чего-то он собирался нам показать.

– Себя, – сказал я со злостью.

– А хоть и себя. – Володя взял меня под руку. – Все же мы его любили...

Да, за тем комбатом мы были готовы идти куда угодно. Если б он сейчас появился, тот, наш молодой комбат...

– А... помнишь, как мы с ним стреляли по «аппендициту»?

Что-то больно повернулось во мне.

– Ладно, черт с ним, – сказал я. – Ради тебя.

Мы догнали их у тропки. Мокрая глина скользила под ногами. Комбат подал мне

Наш комбат. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru

руку.

– То-то же! Нет ничего выше фронтовой дружбы, – возвестил Рязанцев.

А комбат нисколько не обрадовался.

3

Мы перебежали шоссе, по которому, поднимая буруны воды, неслись автобусные экспрессы, и двинулись, поливаемые дождем, напрямик через поле. Странное это было поле, одичалое, нелюдимое. За железнодорожной насыпью местность стала еще пустынной и заброшенной. Слева белели сады с цветущими яблонями, поблескивали теплицы, впереди виднелся Пушкин, справа – серебристые купола обсерватории, здесь же под боком у города сохранилась нетронутая пустошь, словно отделенная невидимой оградой. Кое-где росли чахлая лоза с изъеденными дырчатыми листьями, кривая березка, вылезала колючая проволока; мы перешагивали заросшие окопы, огибали ямы, откуда торчали лохматые разломы гнилых бревен. Землянки в два наката. И сразу – запах махорки, дуранды, сладковатый вкус мороженой картошки, ленивые очереди автоматов, короткие нары, зеленые взлеты ракет. И что еще? Разве только это? А ведь казалось, помнишь все, малейшие подробности, весь наш быт...

Чьи это землянки? А где наша? Где наша землянка?

Я озирался, я прошел вперед, свернул, опять свернул, закрыл глаза, пытаюсь представить ее расположение, то, что окружало меня изо дня в день, неделями, месяцами. «Все заросло, – вдруг угрожающе всплыла чья-то строка, – развалины и память...» Я-то был уверен, что, приехав сюда, сразу узнаю все; даже если бы это поле было перепаханно, застроено, я бы нашел место нашей землянки, каждый метр здесь прожит, исползан на брюхе, был последней минутой, крайней точкой, пределом голода, страха, дружбы.

Володя окликнул меня. Я не хотел признаваться ему, я еще ждал.

– Послушай, а где «аппендицит»? – спросил он.

– Эх ты, – сказал я.

Уж «аппендицит-то, вклиненный в нашу оборону, проклятый „аппендицит“, который торчал перед нами всю зиму... Я посмотрел вперед, посмотрел вправо, влево... Вялая жирная трава вздрагивала под мелким дождем. Валялась разбитая бутылка, откуда-то доносились позывные футбольного матча. Все было съедено ржавчиной времени. Я рыскал глазами по затянутому дождем полю, где вроде ничего не изменилось. Я искал знакомые воронки, замаскированные доты, из-за которых нам не было жизни, даже ночью оттуда били по пристрелянным нашим ходам, мешая носить дрова, несколько раз пробили супной бачок, мы остались без жратвы и ползали вместе со старшиной, собирая снег, куда пролилась положенная нам баланда. Мы без конца штурмовали „аппендицит“, сколько раз мы ходили в атаку и откатывались, подбывая раненых. Лучших наших ребят отнял „аппендицит“, вся война сосредоточилась на этом выступе, там был Берлин, стоял рейхстаг. Из-за этих догов мы ходили скрюченные, пригнувшись по мелким нашим замороженным окопам, и в низких землянках нельзя было распрямиться, нигде мы не могли распрямиться, только убитые вытягивали перепрелые обмороженные ноги.

Я искал себя на этом поле и не мог отыскать, не за что было зацепиться, удержаться на его гладко-зеленой беспамятности. Когда-то насыщенное жизнью и смертью, разделенное на секторы, участки, оно было высмотрено, полно ориентиров, затаенных знаков, выучено наизусть, навечно... Где оно? Может, его и не было? Доказательства утрачены. А если б я приехал сюда со своими, – я со страхом слышал свои беспомощные оправдания...

– Но что, – приставал Володя. – Где?

Комбат – единственный, кто знал дорогу в ту зиму, кто соединил нас с нашей молодой войной. Мы догнали его. Покаянно, со страхом Володя спросил, и комбат указал на еле заметный холм, который и был «аппендицитом». Вслед за его словами стало что-то проступать, обозначаться. Поле разделилось хотя бы примерно: здесь

Наш комбат. Даниил Александрович Гранин granikdanie1.ru

– мы, там – немцы. Мы шли вдоль линии фронта, не отставая от комбата, и я готов был простить ему все, лишь бы он показал нашу землянку, церковь, участок первой роты, взвод Сазотова, вторую роту...

Развалины церкви сохранились, остатки могучей ее кладки, своды непробиваемых подвалов, лучшее наше убежище, спасение наше.

– Безуглый, – произнес комбат.

И сразу вспомнилось, как сюда ходил молиться Безуглый. Начинался обстрел, Безуглый вынимал крестик, целовал его. В землянке перед сном шептал молитву. Он ужасался, когда мы притаскивали с кладбища деревянные кресты для печки.

– Неоднократно я с ним беседовал, – сказал Рязанцев. – Из него бы можно было воспитать настоящего солдата.

– Он и без того был хороший солдат, – сказал я.

– Вы что же, религию допускаете?

Тогда мы тоже считали Безуглого темным человеком, одурманенным попами, и в порядке антирелигиозной пропаганды рассказывали при нем похабные истории про попов.

– Ты сам помогал отбирать у него молитвенник, – вдруг уличающе сказал Рязанцев.

– я?

– Когда обыскивали, – неохотно подсказал мне Володя.

Они все помнили, значит, это было.

– Не обыскивали, а проверяли вещмешки, – поправил Рязанцев, – продовольствие искали.

– Ну, положим, не продовольствие, – сказал Володя, – а наши консервы.

– Это ты напрасно...

– Тогда у Силантьева свинец нашли, – отвлекая их, сказал комбат.

Интересно, как прочно вдавился этот пустяковый случай. Морозище, белое маленькое солнце, вещевые мешки, вытряхнутые на снег. Силантьев, сивоусый, кривоногий, в онучах, вывернул свой мешок, и комбат заметил что-то в тряпице, вжатое в снег. Поднял, развернул, там был скатанный в шар свинец. «Вы не подумайте, товарищ комбат, – сказал Силантьев, – это я из немецких пуль сбиваю». – «Зачем?» – «Охотники мы». До самой Прибалтики таскал он с собою свинец.

И тут я не то чтобы вспомнил, а скорее, представил, как рядом со мной Безуглый выкладывает из своего мешка обычное наше барахло – бритву с помазком, полотенце, письма, рубаху и среди этой привычности молитвенник в кожаном переплете с тисненым крестом. Я схватил его, начал читать нараспев: «Господи, дай нам днесь...», гнусая ради общего смеха, «днесь» – слова-то какие! Что мне тогда были эти слова – глупость старорежимная. Подошел Рязанцев, перетянутый ремнями, и я торжественно вручил ему молитвенник, тоже, наверное, не без намека, да еще подмигнул ребятам.

Я-то себе лишь представлял, и то это было отвратительно, а они-то в точности помнили, как это было.

– Консервов не нашли, зато немного зерна нашли, – сказал комбат, выручая меня.

Может, не только молитвенник, может, комбат помнил за мной еще кое-что из того, что я давно забыл и теперь понятия не имею, каким я был и как это выглядит сегодня.

Мы шли, высматривая нашу землянку, раскисшая земля чавкала под ногами.

Наш комбат. Даниил Александрович Гранин granikdanie1.ru

– Любой из нас натворил немало разных глупостей, – сказал я комбату. – Что мы понимали?..

Он долго молчал, потом сказал неожиданно:

– Ишь, как у тебя просто. Ничего не понимали – значит, все прощается?

– Бывает, конечно, что в молодости понимают больше, чем потом... – Я старался быть как можно язвительней. – Вершина жизни, она располагается по-разному.

– Вершина жизни, – повторил он и усмехнулся странновато, не желая продолжать.

– Между прочим, вы читали мой очерк?

– Читал.

– Ну и как?

– Что как? – Он повел плечом. – Ты не виноват. – И вздохнул с жалостью. – Ты тут ни при чем.

Это было совсем непонятно и даже обидно. Я ждал признательности, хотя бы благодарности. И что значит я не виноват? Как это я ни при чем?

– Конечно, я ни при чем. – Я хмыкнул, сообразив, что мой комбат и не мог понравиться ему, слишком они разные, может, он и не узнал себя, тот куда ярче, интереснее. Ему неприятно, потому что ничего не осталось в нем от того комбата. Может, и меня он не узнает?.. Ни в ком из нас ничего не осталось от тех молодых, ни единой клеточки не осталось прежнего, все давно сменилось, мы не то чтоб встретились, мы знакомились заново, только фамилии остались прежние.

– Где-то тут наш солдатский базар шумел! – крикнул Володя.

Комбат огляделся, показал на место, защищенное насыпью.

– А ну давай налетай самосад на портянки, – блаженно запел Володя. – Байковые, угретые.

А портянки... а портянки, вспомнилось мне, на ножики самодельные, а ножики на портсигары, на зажигалки. А зажигалки в два кремешка с фитилем. А портсигары алюминиевые с вырезанными на крышке цветком или парусником.

А откуда алюминий? С самолета разбитого. С нашего? Нет, с немецкого, он упал на нейтралку, ночью мы потащили его к себе, а немцы, видать, тоже трос нацепили и тянут к себе, но тут началось – кто кого... И сейчас, переживая, как мы перетягивали сытых немцев, мы торжествовали, Володя расписывал ловкость, с какой мы до утра обмазали самолет глиной, для камуфляжа, чтобы не блестел, как потом все части пошли в ход...

Откуда у воспоминаний такая власть? Базар был курам на смех, почему же сейчас от этой нахлынувшей пустяковины перехватило горло?

4

Окопы заплыли, обвалились – еле заметные впадины, канавки, где гуще росла трава, там стояли длинные лужи – все это было перед идущим впереди комбатом, а за ним уже возникали участки второй роты, снежные траншеи с бруствером, амбразурами, грязный снег, серый от золы и желтый от мочи, беленые щитки пулеметов, розовые плевки цинготников. Чьи-то фигуры мелькали – зыбкие, как видения. Звякали котелки. Над мушкой в прорези проплывал остов разбитого вокзала, пушкинские дворцы. Египетские ворота... У каждого из нас сохранилось свое. Если бы наложить друг на друга наши картины, может, и получилось бы что-то более полное.

Володя выяснял у Рязанцева, откуда начальство узнало про консервы. Тогда это было нам очень важно – кто стукнул. Но и теперь это было интересно.

Наш комбат. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
– Агентура! – сказал Рязанцев.

Сам не знал и не хотел признаться? Или щадил кого-то?

Знаменитые консервы, которые мы притащили из разведки, были сразу съедены, а легенда все плыла, расцвеченная голодухой. Комбат решил с ней покончить, устроив всеобщую проверку. У кого-то нашли зерно, отобрали и раздали перед наступлением.

– Старались как-то подкормить вас, гавриков, – сказал Рязанцев.

По мере того как мы удалялись в ту зиму, к нему возвращалась уверенность.

– ...чем-то подбодрить вас хотели! – Жесты его становились размахистой, он подтянулся – наган на боку в гранитовой кобуре, планшетка, что-то он такое доказывал, что-то он говорил тогда насчет нашего наступления и еще чего-то...

– Значит, Подготавливались? – Я еще сам не понимал, что именно нужно вспомнить. – К дате подготавливались?

Я старался говорить без интереса, но Рязанцев почувствовал, насторожился. Может, он и не знал, чего я ищу, скорее всего, он тревожился, ощутив мои усилия вспомнить что-то, касающееся его.

5

«Нас было трое, нас было трое...» – у Володи это звучало как песня, как баллада. Трое молодых, отчаянных разведчиков – Сеня, Володя и я. Неверный свет луны спутал все ориентиры, высмотренные днем. Мы перестали понимать, где наши, где немцы. Ракеты взмыли где-то позади, мы повернули и очутились перед немецким блиндажом. Договорились так: я отползаю чуть влево, перекрываю дорогу к блиндажу и наш отход, Володя – вправо и, в случае чего, помогает Сене, который подбирается к блиндажу, швыряет туда противотанковую. Залегли. Тихо. Темная глыба блиндажа, узкий свет проступает из щели. Вдруг дверь распахнулась, фигура Сени во весь рост обозначилась в освещенном проеме. Вот тут-то и произошло невероятное: Сеня не двинулся. Он изумленно застыл в светлом прямоугольнике с поднятой гранатой – вроде плаката «Смерть немецким оккупантам!». И тишина, будто оборвалась кинолента. Затем медленно, бесшумно Сеня начал погружаться внутрь блиндажа. Исчез. Тихо.

– Представляете? – смакуя, сказал Володя. – Душа моя ушла в нижние, давно не мытые, конечности. Лежим. Автоматы на изготовку. Не знаем, что подумать. Что происходит в логове врага? Я знал, что Баскаков сцепился с комбатом – возражал, чтобы Сеню отправляли в разведку. У Сени действительно настроение было скверное, любой фортель мог выкинуть. Как он говорил – фронт лучшее место для самоубийства. Итак, мы лежим, светит пустой проем... – Володя передохнул, наслаждаясь нашим нетерпением, зная, что нетерпение это сладостное, оно-то и составляет нерв рассказа. И соответствует правде, ибо и там, в разведке, оно длилось бесконечно долго, измучило, вымотало душу.

– А этот железный хлопек, – Володя показал на меня, – подполз ко мне и шепчет: «Выстудит им Сеня помещение».

Было ли это? Неужели я был таким и все это происходило со мной – первый скрипучий снег, молодая наша игра со смертью, морозный ствол автомата? Володя приседал, выгибался, показывая, какие мы были ловкие, находчивые, как нам везло – мушкетеры! И мне хотелось, чтоб так было, я любовался собою в рассказе Володи, в этой фантастической истории с немцем, который наконец показался, волоча какой-то узел, за ним Сеня; немец пошел, оглядываясь на нас, и тут Сеня шваркнул гранату в блиндаж, и поднялась стрельба, немец упал, ракеты, крики, немец вопит как сумасшедший, мы пятимся, скатываемся куда-то в низину, Сеня волочит узел, потом вытаскивает из узла бутылку. Отличный был ром. Захмелев, уже ничего не боясь, каким-то чудом пробрались мы через эту проклятую спираль Бруно, ввалились к своим. Развязали скатерть, там было мороженое месиво из сардин, сосисок, ананасов. Мы с ребятами – кто там был, вспомнить невозможно – срубали асе эти деликатесы со скоростью звука.

Наш комбат. Даниил Александрович Гранин granikdanie1.ru

– А вы через неделю консервы искали! – победно сказал Володя. – Смеху подобно!

И он не без таланта изобразил, как все произошло, когда Сеня распахнул дверь: посреди блиндажа стоял накрытый стол. Готовились справлять рождество. Всякие сыры и мясо, салфетки. Окончательно же пронзил Сеню зеленый салат, руку у него свело, не мог же он бабахнуть в такую роскошь. Психологически не в состоянии ввиду голода. На его счастье, там всего один фриц вертелся, снаряжал этот стол.

– Сенечка и предложил ему на языке Шиллера и Гете сгрести харч и мотать с нами, – сказал Володя, – а потом свои же и подстрелили этого фрица или ранили.

Мне-то казалось, что все было бестолковой, и консервов было всего несколько банок, и фрица я вроде не видал. Но кому нужна была точность? Так было куда интересней – это была одна из тех легенд, которые бродили по фронту, сохранялись никем не записанные, отшлифовывались из года в год, припоминались в дни Победы, когда всплывают происшествия смешные, невероятные, и прошлое притирается, обретает ловкий овал...

– А ты тоже сомневался в Полесьеве? – спросил комбат, впервые проявляя собственный интерес.

Володя честно задумался, и мне стало ясно, что комбат попал в самую точку, в яблочко, потому что из всего приукрашенного тот момент, когда мы томились, сохранился подлинным, и в этом моменте мы не то чтобы усомнились в Семене, нет, мы убеждали себя, что не сомневаемся в нем, – вот это-то и почувствовал комбат.

Непонятно только, почему он сказал «тоже».

Он вытащил какую-то бумагу, похожую на карту, надел очки, сверился, и Володя потащил меня к яме, полной воды, заросшей, как и другие ямы, неотличимой до того, пока комбат не указал на нее, ибо тут она превратилась в совершенно особую. Те же гнилые бревна вытаркивались из осыпи, Володя мягко ступал на них, показывая, где были наши нары, мое место, его место, присел, балансируя на скользком гнилье, вытянул из грязи конец черного шнура. Вернее, плесенно-зеленого, это мы увидели его черным, как он висел поперек землянки и горел в обе стороны, медленно, копотно выгорела изоляция – такое у нас тогда было освещение. На стене в золотой рамке висела настоящая картина, писанная масляными красками: дама в соломенной шляпе гуляет по набережной. Там светило южное солнце, море было зеленым, небо ярко-голубым, мы лежали на истлевшем бархате, найденном в разбитой церкви, и Володя пел Вертинского...

Вечером, после тошнотного хвойного отвара, когда от голода дурманно колыхались нары, не было ничего трогательнее этих песенок. Я тогда понятия не имел о Вертинском, он считался запретным. И почему так действовали на нас бананово-лимонный Сингапур, сероглазые короли, желтые ангелы...

Мадам, уже падают листья
И осень в смертельном бреду.

Голос у Володи остался такой же, низкий, с щемящей хрипотцой:

Уже виноградные кисти
Темнеют в забытом саду.

Сеня Полесьев лежал в своем углу холодный и твердый, это был уже не Сеня, а предмет, как доски нар, как банка с ружейным маслом. Мы еле дотащили его, раненного в живот. Он умер к вечеру, и через час мы получили за Сеню порцию хлеба, суп и поделили его сто пятьдесят граммов. Пришла Лида, мы налили ей в кружку и оставили немного супу – закусить. Она легла между нами погреться – как мужчины мы были безопасны.

В дверь заглянул комбат.

– Что за веселье? Что за песни?

– День рождения справляем, – сказала Лида.

– Чей это день рождения?

– Вы разве не в курсе? – сказала Лиды. – Может, хотите присоединиться? У нас славная компания.

Никто, кроме Лиды, не позволял себе так говорить с комбатом.

Пригнувшись в низком проеме, он смотрел на Сеню, прикрытого газеткой. Мы знали, что он любил Сеню и защищал его перед Баскаковым... «Одиннадцатый», – сказал он голосом, обещающим долгий смертный счет, ничего не отразилось на его лице, и я позавидовал его выдержке.

Он ушел, а мы лежали и пели. И если уж откровенно – мы выпили за упокой Сени и потом чокнулись за здоровье вождя. Мы хотели, чтобы он жил много-много лет. Потом Володя отправился в наряд, а мы с Лидой заснули, прижавшись друг к другу. Проснулся я оттого, что почувствовал ее слезы.

– Не убивайся, – сказал я. – Война.

– Дурачок, я ж не о нем, – и вдруг она стала целовать меня. Спросонок я не сразу понял, гимнастерка ее была расстегнута так, что открылись голубенькие кружева ее сорочки, и я впервые заметил, какие у нее груди, несмотря на голодуху, какие у нее были крепкие груди. Но она ведь знала, что я ничего не мог, никто из нас тогда не мог. И все равно мне было стыдно за свою немощь. Я оттолкнул ее, потом выругал, ударил, скинул ее с нар, вытолкнул из землянки. «Сука, сука окопная!» – кричал я ей вслед. Сейчас мне казалось, что потом я тоже заплакал, да, было бы хорошо, если б это было так, но я точно знаю, что я не плакал, я завалился спать, я считал, что я чем-то подражаю комбату, такой же непреклонный и волевой.

Какая подлая штука – прошлое. Ничего, ничего нельзя в ней исправить...

Я жду вас, как сна голубого,
Я гибну в любовном бреду...

Вместо Лиды сейчас подпевал Рязанцев, фальшиво и самозабвенно, и взгляд его предлагал мне мир и забвение.

Володя взял у комбата его бумагу и протянул мне.

На ватмане, заботливо прикрытом наклеенной калькой, вычерчены были позиции батальона с черными кружками дотов, пулеметными точками, с пунктиром ложных окопов. Рядом то льнула, то отступала синяя линия противника, с острием «аппендицита», занозой, всаженной в нашу оборону. Наискосок самодельную карту перечеркивала нынешняя ветка электрички, обозначен был и этот новенький домик под красной крышей, на котором растопырилась антенна. На антенне сидела сорока.

– Так восстановить обстановку! Я бы никогда не смог! – Володя изнывал от восторга. – А ты говоришь!

– Сохранились, наверное, старые карты, – сказал я. – Иначе как же...

Комбат засмеялся, махнул рукой:

– Где там, весь отпуск ухлопал.

Сколько раз пришлось ему приезжать сюда, бродить, выискивая заросшие следы на этих мокрых одичалых полях, вымерять шагами нашу тогдашнюю жизнь, извлекать день за днем, вспоминать каждого из нас.

– Да, работенка. Зачем-то, значит, понадобилось, – сказал я наугад.

– Тебе же и понадобилось, – сказал Володя. – Ведь это же здорово! Земляночку нашу определили!

– Наверное, были и другие причины.

– Совершенно верно, – сказал комбат. – Надо было кое-что выяснить.

Что-то опасное послышалось мне в его голосе, но никто ничего не заметил, Рязанцев подмигнул догадливо:

– Мемуары? Сознайся, а? Давно пора. Мы тебе поможем.

Комбат грубовато усмехнулся.

– Ты мне лучше помоги обоим достать приличные. У тебя на комбинате связи сохранились.

– Не мемуары, песни о нас слагать надо, – Володя обвел рукой поле. – Какой участочек обороняли! Сколько всего? – он заглянул в карту. – Три плюс полтора... Четыре с половиной километра! Мамочки! Один батальон держал. И какой батальон! Разве у нас был батальон? Слезы. Сколько нас было?

– На седьмое февраля, – сообщил комбат, – осталось сто сорок семь человек.

– Слыхали? Полтора ста доходяг, дистрофиков! – все больше волнуясь, закричал Володя. – В чем душа держалась. И выстояли. Всю зиму выстояли! Невозможно! Я сам не верю! Один боец на тридцать метров. Сейчас заставь вас от снега тридцать метров траншей очистить – язык высунете. А тут изо дня в день... И это мы... Какие мы были... – Красным вспыхнули скулы его твердого лица, он попробовал улыбнуться. – Никому не объяснишь. И еще стрелять. Наступать! Дрова носили за два километра. Как мы выдержали все это... Ведь никто и не поверит теперь. Неужели это мы... – Губы его вдруг задрожали, расплылись, он пытался справиться с тем, что накатило, и не мог, отвернулся.

Рязанцев судорожно вздохнул, слезы стояли в его глазах:

– Потому что вера была.

– Одной веры мало. Комбат у нас был! С таким комбатом...

– Давай, давай, – сказал комбат.

– И дам! Ваша ирония тут ни к чему, – запальчиво отразил Володя. – Зачем мне подхалимничать? Думаете, я забыл, кто пайкой собственной разведчиков награждал? А каждую ночь все взводы обходил? Кто меня мордой в снег? Я уже совсем доходил. А он меня умыл, по щекам надавал, петъ заставил. Может, я вам жизнью обязан.

– Не один ты, – ревниво сказал Рязанцев.

– Кто ж еще? Ты, что ли? Или ты? – комбат ткнул в меня пальцем, непонятно злясь и нервничая. Измятое лицо его дергалось, руки бессильно отмахивались, только глаза оставались неподвижными – жесткие, сощуренные, как тогда в прицеле над винтовкой, отобранной у меня, хреновой моей винтовкой с треснутой ложей. Он выстрелил, и сразу немцы подняли ответную пальбу, взвыли минами. Комбат не спеша передвинулся и опять пострелял. Это было в октябре, впервые он пришел к нам в окоп – фуражечка набекрень, сапожки начищены, – пижон, бобик, начальничек; взводный шел за ним и бубнил про приказ. Был такой приказ – без нужды не стрелять, чтобы не вызывать ответного – огня. Ах, раз не стрелять – так не стрелять, нам еще спокойней. Мы, пригибаясь, шли за ними, матеря весь этот шухер, который он поднял. Комбат только посмеивался. «Без нужды, – повторял он, – так у вас же каждый день нужда, и малая, и большая. Что же это за война такая – не стрелять?» И все стрелял и дразнил немцев, пока и у нас не появилось злое озорство, то, чего так не хватало в нашей блокадной, угрюмой войне. Нет, он был отличный комбат.

– Да и я тоже вам обязан, – вырвалось у меня. – И может быть, больше других...

Не обращая внимания на его смешок, я что-то выкрикивал, захваченный общим волнением: сейчас прошлое было мне важнее настоящего. Здесь мы стали солдатами, которые дошли до Германии, а эта тщательно вычерченная карта, настойчивость, с какой он тащил нас сюда, может, всего лишь наивный замысел – услышать похвалы своих однополчан, – а теперь он нервничает и стыдится, что затеял все это...

Наш комбат. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru

Дождь измельчал, сыпал неслышной пылью. Позади остались залитые водой окопы Сазотова – наш передний край, наша лобовая броня. Мы шли на «аппендицит».

Комбат шагал один впереди, за ним его солдаты, три солдата, и все равно это был батальон. Снова, в который раз, наш батальон вступал на ничейную.

Из травы выпорхнула птаха. Рязанцев вздрогнул, нагнулся, поднял серую кость – обломок челюсти. Мы ковырнули землю – обнажился ржавый пулеметный диск и рядом осколки, а глубже позеленелые гильзы, обломок каски, кости, осколки, всюду осколки, земля была полна осколков, ржа работала не так-то уж быстро.

– Великое дело восстановить правду войны, – рассуждал Рязанцев. – Возьмем историю нашего батальона...

Правда войны... восстановить правду – кто бы мог подумать, что это станет проблемой.

Летом наш отдельный батальон, то, что от него осталось, отвели на переформирование, мы не знали, кто, как взял этот «аппендицит», – так он и остался для нас неприступным.

Зеленый уступ его медленно приближался.

– И никто не стреляет, – удивился Володя.

Напряженность была в моей улыбке. Нас всегда подпускали поближе и начинали строчить. Наша артиллерия, бедная снарядами, не могла подавить их. Чернели воронки, десять, двадцать, все-таки кое-что, но стоило нам приблизиться – и «аппендицит» взрывался тем же смертно-плотным огнем.

Казалось, до сих пор весь объем этого сырого пространства исчерчен следами пуль. Со временем город продвинется, поглотит это поле, тут построят дома, зальют асфальтом землю, натянут провода. Никто уже не сможет различить за шумом улиц звуков войны, запахов тола, махорки, никому и в голову не придет, только для нас это пространство будет разделено линией фронта. Сеня Полесьев рухнул тут на колени, взвыл, держась за живот. Там упал Безуглый, и где-то тут, между ними, через две недели свалился и я... Все атаки слились в одну, мы шли, бежали и снова ползли в сером позднем рассвете. Память очнула старую боль раненой тогда ноги, дважды меня било в одну ногу, но обычно помнилось второе ранение на прусском шоссе, а сейчас я вспомнил, как полз здесь назад по снегу и ругался.

Травяной склон «аппендикита» был пуст, безмолвен. Комбат шел к нему спокойно, в полный рост. «Ему-то что, – сказал как-то Силантьев, – он заговоренный, а нашего брата сечет без разбора». Никто не ставил в заслугу комбату, когда он шел впереди по этому полю.

Я оглянулся. Позади, держась за сердце, брел Рязанцев. Желтая рубашка мокро облепила его тряские груди, живот, волосы слиплись, обнажив лысину.

Все-таки я вспомнил! «Наш подарок», – писал Рязанцев в боевых листках. Красным карандашом. Взять «аппендицит» к двадцать первому декабря. Его предложение. Его инициатива.

Рязанцев посмотрел на меня. Почувствовал, замедлил шаг, а я остановился, поджидая его. Деваться ему было некуда. Он заискивающе улыбнулся.

6

...Не дождь шел, а снег, зеленый снег в пугливом свете ракет. И я вдруг увидел, что меня не ранило, а убило, снег засыпал меня, рядом лежал Безуглый, еще неделю мы лежали на этом поле, потому что у ребят не было сил тащить нас, потом нас все же перетасили. Баскаков вынул у меня партбилет, письма, Лидину карточку (черт меня дернул держать эту карточку в кармане!). Он вынул ее при всех и отдал Лиде, и меня закопали вместе с другими. Так я и не знаю – взяли этот «аппендицит» и что с Ленинградом; для меня навечно продолжается блокада, треск автоматов,

Наш комбат. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
ненависть к немцам и наш кумир, величайший, навечно любимый мною, наша слава боевая, нашей юности полет... Но не надо над этим усмехаться – мы умерли с этой верой, мы покинули мир, когда в нем была ясность – там фашисты, здесь мы, во врага можно было стрелять, у меня был автомат, две лимонки, и я мог убивать врагов. А умирать было не страшно, смерти было много кругом. Теперь вот умирать будет хуже... А через двадцать с лишним лет пришел на это поле комбат и впервые вспомнил тот бой.

Слишком местного значения был тот бой, даже в батальоне вскоре забыли о нем, наступил еще больший голод, и были другие атаки и огорчения. Если бы не комбат... Только комбаты и матери помнят убитых солдат. Мы ожили его памятью и снова шли на «аппендицит».

Рязанцев приближался, хрипло дыша.

– Сердечко... поджимает, – он смотрел на меня, прося пощады. – Инвалид. Совсем разваливаюсь... Последствие...

Оказывается, его тоже контузило здесь, тогда вроде бы легко, а через несколько лет сказало, и чем дальше, тем хуже. Со службой не ладилось, кто-то его подсиживал, его, направили в кадры на обойную фабрику, оттуда в пароходство, а сейчас он ушел на пенсию, доживая остатки своего здоровья. Частые болезни надоели жене, еще молодой и крепкой, у нее завелась своя жизнь, и дети как чужие, тоже не нуждаются в его опыте. Но он держится, – главное, не отрываться, он дежурит на агитпункте, беседует с нарушителями по линии штаба дружины.

От него несло тоской неудач, суеты малонужных занятий, и непонятно было, как же мы шли с ним по этому полю, и он стрелял, и всю эту зиму проявлял себя и другим помогал, находил силы агитировать... Его тоже могли убить вместе со мной, и тогда он остался бы храбрецом... Откуда же набралось в нем столько страха?

Но какое я право имею, чего это я сужу всех, как будто я так уж правильно прожил эти случайно доставшиеся годы...

Я обнял мягкие обвислые плечи Рязанцева, пытаюсь сказать что-то хорошее, от чего бы он распрямился и перестал робко заглядывать в глаза. Что бы потом ни случилось, он оставался одним из наших – с переднего края, из тех, кто жил среди пуль. Люди делились для меня когда-то: солдат – не солдат. Долго еще после войны мы признавали только своих фронтовиков. Мы отличали их по нашивкам ранений, по орденам Славы, по фронтовым шинелям. Фронтовую шинель всегда можно было отличить от штабной.

А снег все валил, засыпая ходы сообщения, прежде всего надо было расчистить сектор обстрела, перед пулеметами. Лопатки были малые саперные, а откидывать на бруствер запрещалось, потому что не видно будет немцев. Рязанцев тоже ходил, проверял, требовал замок пулеметный держать в тепле... хоть на груди... Зимняя смазка густела... Замок липкий от мороза... Патроны с желтыми головками, с красными... Я помогал Володе тащить веретенное масло для противооткатных... Он шил мне из старой шинели наушники... Паленая шинель. Наушники пахли горелым.

Я прижался щекой к мокрой щеке Рязанцева. Володя оглянулся на нас. Никого не было сейчас для меня ближе этих людей. Какие бы они ни были. С тех пор накопились новые друзья, мы собирались, ходили в гости, делились своими бедами, но никого из них я не мог привести в эту зиму. Одна зима, да еще весна – не так уж много, но ведь важно не сколько вместе прожил, а сколько пережито. А с этими... Я знал, что могу завалиться спать и Рязанцев не съест мою пайку хлеба. Это не так уж мало, как кой-кому может сейчас показаться. И они знали, что я не отстану и не лягу. Никто из моих друзей, там, в городе, не знал меня такого, только эти трое.

Я взял Рязанцева под руку, чтобы ему легче было. Нога моя еще ныла. Володя присоединился к нам. Комбат шел впереди. Травяной подъем «аппендицита» был скользким. На склонах или выше затаились железобетонные доты, непробиваемые, неодолимые, непонятно было, когда немцы успели их соорудить.

Бесшумно пронеслась электричка. Несколько секунд – и она была уже по ту сторону

фронта.

Володя хвалился, как раздобыл недавно стенд для лаборатории с помощью гитары. Комбат поднимался по склону, торжественно, как по ступеням. Нам никогда не удавалось дойти до этих мест. Оказалось всего-то метров триста.

Забравшись наверх, мы оглянулись. Отсюда прекрасно видна была наша позиция, темная скученность кустарника отмечала кривую линию окопов. Дальше тянулись поля, сейчас там высились белые дома, а тогда не было ничего – снежная равнина и постоянное наше ощущение пустоты за спиной, никого, кроме нас, до самых Шушар, может, до самого Ленинграда. Мы были последний рубеж, мы не могли ослабеть, убояться, отступить нам было некуда.

Отсюда немцам обнажалась вся наша голодная малолюдная слабость, наша бедная окопная жизнь. Они трусливо ждали, пока мы передохнем; по их подсчетам, мы давно должны были сдаться, околеть, сойти с ума, впасть в людоедство.

– А где же доты? – спросил я.

– Доты! – комбат поспешно вытер лицо платочком, отряхнулся. – Не было дотов. В том-то и фокус-покус! – И хохотнул напряженно.

Он подвел нас к яме. Очертания ее еще сохранили четырехугольность колодца. Комбат стукнул ногой по стене – стены были выложены шпалами. В шпалы лесенкой забиты скобы. Колодец уходил вглубь метра на два с половиной, на три и загибался. Комбат заставил нас спуститься вниз, в заросшую сырую тьму. Всего комбат обнаружил семь таких колодцев. В каждом помещалось по два автоматчика. Он представлял их действия во время атаки: когда начинался обстрел, автоматчики укрывались в отсеки, пережидали, потом поднимались по скобам и встречали нас огнем. Практически они были неуязвимы. Прямое попадание снаряда в такой колодец исключалось. Между колодцами существовала система взаимодействия огнем. Мы примерились. Я стал в колодце, автомат дрожал в моих руках, я строчил по своим, я расстреливал себя, того, который бежал, проваливаясь в снег, полз сюда, я стоял с полным комфортом, попыхивая сигареткой...

7

– Вот и вся хитрость, – сказал комбат. – Всего-навсего...

Рязанцев сплюнул в колодец.

– Не верю я. Как же так? Ведь были же доты. Железобетонные. Может, их снесли?

– Ты что, видел их? Видел? Не было никаких дотов. В том-то и штука, – злорадно сказал комбат. – Чего ты упрямисься?

Мы молчали, избегая смотреть друг на друга. Напрасны, значит, были все наши артподготовки, сэкономили бронепойменные, копили, берегли для штурма. Уверены были, что тут железобетонные колпаки. Кто мог предполагать – всего четырнадцать автоматчиков в колодцах.

– Чего другого мы могли? – сказал я. – Какая разница?

Комбат по-кошачьи прижмурился.

– Извиняюсь. Могли. Надо было минометами их доставать.

Это было так очевидно, что Володя выругался. Мы мучились от досады и стыда.

Володя покачал головой:

– Ай да комбат! Все же раскусил голубчиков, докопался. Ну и археолог. – Он перебирал в своих восторгах, но мы поддерживали его, стараясь найти какое-то утешение. И мне даже пришло в голову, что не так-то уж заплошал наш комбат. Понятно, что тянуло его сюда, – хотел разобраться в неудачах наших, доискаться. Может, просто так, для самого себя. Профессиональный интерес мастера. Приятно,

Наш комбат. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
что, значит, осталось в нем кое-что.

Мы пошли дальше в глубь «аппендицита», и я говорил комбату насчет своего очерка. Теперь ясно, что комбат имел в виду. Кто знал, что не было никаких дотов? Но все же мы наступали, это главное, и люди действовали героически.

– Не торопись, – устало сказал он.

Мысок «аппендицита» кончился. Комбат подвел нас к краю довольно крутого обрыва, где в спуске были выкопаны пещеры. В них, по его словам, размещался немецкий штаб со всеми службами. Судя по всему, жили немцы здесь безопасно и роскошно. Машины могли подъезжать сюда, доставляя из Пушкина горячие обеды, сосиски с гарниром, теплое пиво. Комбат выискал следы мостков – это весной, в грязище, топали они здесь по сухим деревянным мосточкам.

– Паразиты! И сюда минометы бы достали. – Володя стукнул себя кулаком по лбу. – Как это мы не доперли?!

– Ты-то тут при чем? – холодно сказал комбат.

Володя обиженно заморгал.

– Ну, а вы? – сказал я. – Вы-то куда смотрели?

– Не было у нас минометов, – поспешно сказал Рязанцев. – Не было.

Комбат терпеливо вздохнул.

– Минометы можно было раздобыть. Минометы не проблема.

– Так что же?

– Думаешь, нет причины? Причина, она всегда есть. Карта меня подвела. На наших картах обрыв не был обозначен.

– Так я и знал! Топографы, растудить их, – Рязанцев помахал кулаком, но в голосе его было облегчение. – Дошло?

– Вот оно что, – сказал я.

Дождь кончился. Наверху разгуливалось, светлело. Ни с того ни с сего, где-то срываясь, отчаянно пропел петушок. Мы рассмеялись. Комбат снял накидку, стряхнул. Костюм на нем был сухой и галстучек небесно сиял.

– Прошлый год меня в ГДР командировали, – сказал Володя. – Толковые они приборы делают. И вообще – современные ребята, приятно, когда заместо хенде хох – данке шен.

Комбат прошелся мимо нас, в одну сторону, в другую. Мы следили за ним глазами.

– У меня сын тоже современный, – Рязанцев вздохнул. – Голоданием советует мне лечиться. У тебя, говорит, опыт богатый.

Комбат остановился, приглядываясь к нам как бы издалека, неведь откуда, и вдруг сказал воинственно:

– Карта, между прочим, тоже не оправдывает. Соображать надо было. Где еще, спрашивается, штаб мог разместиться? Достаточно понаблюдать за путями подъезда из Пушкина. Элементарная вещь. Тем более что времени у нас хватало. Слава богу.

Нельзя было понять, куда он клонит. Какого черта он наскაკивает, не понимает он, что ли...

– Кто же должен был соображать? – не утерпел Володя.

– Я! – отрубил комбат, как на поверке, а потом добавил: – Кто же еще?

– Какого же черта...

Но Рязанцев перебил меня:

– Чего ты городишь, да разве мы днем могли наблюдать? Высунуться не давали, – и он переглянулся с Володей, что-то сигналил ему. Володя тотчас поднял руку.

– Свидетельствую. Правду, и только правду. Вы же во взводы лишь ночью могли добраться. С фонариком. Проверочка – все ли в пижамах. Помните песенку: «К нам приходят только ночью, а не днем на огонек»?

Комбат слушал его и не слушал, все поглядывал вправо от нас, в сторону пологого склона, начинающегося за крайним колодцем. Что-то ему не давало покоя. Он сверился со своей схемкой и уставился на пустой склон. Взгляд его застыл сосредоточенно-отсутствующим, словно комбат прислушивался к себе.

– ...Славная была песенка. Ловко ты ее сочинил.

– Я? Неужели я умел сочинять песни?

– Эх ты, растерял свои способности, – продолжал Володя. – Из тебя мог выйти Лебедев-Кумач или Окуджава.

Лицо комбата скривилось.

– Так и есть... – Он, как лунатик, сделал несколько шагов вслед неизвестной нам мысли, показывая на мелкие буераки, что рукавами стекали со склона, сливаясь в длинный, расширяющийся книзу овраг. Русло его в глинистых осыпях наискосок тянулось, сходя на нет, к нашим позициям, почти у правого фланга.

– Перебежками... Скапливаться... Проверим... в полный рост... – Он бормотал, ничего толком не объясняя, и вдруг попросил Володю и меня спуститься, пройти к нашим окопам и затем вернуться сюда, следуя по дну оврага. Рязанцев, тот посидит на обрыве, служа нам ориентиром.

– А в чем идея? – спросил я. – Что это еще за игра в казаки-разбойники?

– Надо проверить, – нетерпеливо повторил комбат. Он насильно улыбнулся. – Пробежитесь малость, согреетесь.

– Не пора ли нам, ребята, – Володя сладко потянулся. – Все было прекрасно. Насчет согрева есть другое предложение.

Я уселся на камешек, вытянул ноги.

– Проголосуем?

Рязанцев незаметно кивнул мне. Никто из нас не хотел участвовать в этой подозрительной затее.

Комбат растерялся. Он не мог гаркнуть, приказать нам. Он не думал, что мы взбунтуемся. Искательно улыбаясь, он совал мне плащ:

– Там в кустах мокро... Берите, берите... Чего вы, в самом деле. Вам же самим интересно. Ведь все равно... Пожалуйста. Имею я право...

Мне стало жалко его, так не шел ему этот просящий тон, но я не двинулся с места.

– Ах, эти штатские, гражданка-гражданочка, – напевал Володя. – Не поставит по стойке, не отправит в штрафную. Я сам в первые годы мучился. – Он посмотрел на комбата и вдруг сменил тон: – Послушай, может, не стоит.

Рука комбата больно стиснула мне плечо; бледнея лицом, он затряс меня:

– Вам-то что за дело!

Я поднялся, сунув руки в карманы, покачался на носках: «Не забываетесь ли вы,

Наш комбат. Даниил Александрович Гранин granikdanie1.ru бывший наш начальник, раньше выяснять надо было, раньше, опоздали...» Но вместо всех фраз, которые вертелись у меня на языке, я театрально поклонился. Ладно, мы пойдем. Мы проверим. Только не пеняйте на нас, вы сами этого хотели.

8

Кусты приходилось сначала отряхивать, потом раздвигать. В овраге – впрочем, это был не овраг, а скорее лощинка – чисто пахло мокрой зеленью, воздух лежал теплый, грибной, цвели высокие розовые иван-чаи и желтенькие мать-и-мачехи; уголок этот, слабо тронутый войной, и чувствовался, и виделся иначе. Я подумал, что давно не был в деревне, так, чтобы были поля, коричневая вода в речке, большое небо.

– Чего он добивается? – расстроено спросил Володя. – Чудик, Галилей Галилеич.

– Мы его предупреждали. И вообще – наше дело солдатское. Распрекрасное дело быть солдатом.

– Пардон, – сказал Володя. – Я больше люблю генералом.

Нет, я имел в виду другое – распрекраснейшее наше солдатское состояние: бесквартирное, безмебельное, свободное от покупок, моды, барахла, семейных смет и ночных объяснений. И наше солдатское дело – выполняй приказ, и никаких сомнений, психологических глубин, держись поближе к кухне, подальше от начальства, старшина обеспечит. Все мое со мной, все умещалось в вещмешке. Танки наши шли по Восточной Пруссии, через опустелые фермы, городишки. Мы ночевали в роскошных особняках, полных диковинного для нас шмотья, но нам ничего не надо было, мы шли вперед, оставляя за собой свободу, Германию, где никогда не будет фашизма, – и каждый из нас чувствовал себя всесильным судьей, творящим высший и праведный суд.

– Тебе снится война? – спросил Володя.

– Давно не снилась.

– И мне давно.

– Тебе должны сниться научные сны. Штатные расписания, фонды, приборы. Зачем тебе военные сны?

– Нужно, – сказал он. – Иногда нужно.

Далеко наверху темнела сгорбленная фигура Рязанцева; комбата мы не видели.

– В колодце сидит, – сказал Володя. – Проверяет.

– Чего проверяет?

– Что было бы, если бы кабы... Пойдем на всякий случай повыше.

– Нехорошо. Ему ж надо знать...

– И что мы будем с этого иметь? Нет, отец, расстройств мне хватает в рабочее время, а тут в кои веки встретились...

Он взял меня за руку, потащил, забирая все выше по скосу, пока над уступом не показались голова и плечи комбата. Он что-то закричал нам, но мы продолжали идти, не теряя его из виду. Черный силуэт его вырастал над землей, поднимался по грудь, потом по пояс, он вставал из земли, словно один из тех, что полегли здесь.

– Неужели мы с тобой когда-то тут ползли и все это было? – спросил я. – Если бы прокрутить на экране, – представляешь, мы сидим в зале и смотрим.

– Кошмар. Просто чудо, что мы с тобой живы, старик. Для меня нынешняя жизнь – как бесплатное приложение.

Наш комбат. Даниил Александрович Гранин granikdanie1.ru

С условленного места, где овраг разветвлялся сухими вымоинами, мы круто свернули на Рязанцева.

Володя закричал:

– Даешь «аппендицит»! Вперед! Нарушителей к ответу!

Мы хватались за кусты, карабкались наперегонки.

Мы выскочили прямо на Рязанцева.

– Сдавайся!

При нашем появлении они замолчали. Рязанцев пустыми глазами посмотрел на нас и отвернулся. Комбат вылез из колодца перепачканный в глине, растрепанный, галстучек его сбился, пуговица на пиджаке болталась. Он вытер руки о траву, спросил:

– Смухлевали?

– Да как можно, вы ж нашего брата насквозь, – затараторил Володя.

На мгновение комбат поверил, посветлел, видно было, как хотелось ему обмануться, но тут же вздохнул, расставаясь с несбыточным, нахмурился, снял зачем-то шляпу, повертел ее, рассматривая.

– Вот какая история... Так я и думал... Ах ты боже мой, что же выходит? Вы понимаете, как повернулось все... нет, не понимаете вы...

Он недоверчиво, как-то удивленно осматривал каждого из нас, словно не желая верить, что ничего исправить нельзя.

– Значит, что же? – тупо повторил он и задумался.

Мы почему-то успокоились, Володя вынул расческу, причесался, но вдруг комбат с какой-то отчаянностью и упорством, как бы наперекор себе, погрозил кулаком:

– Нет, раз уж так, я покажу! Я вам все покажу!

Зеленый рельеф, несмело высвеченный солнцем, лежал перед нами, как наглядное пособие в классе военного училища. Скомкав шляпу, комбат яростно тыкал ею в пространство, объяснял торопясь, словно боясь за свою решимость. Теперь, когда он убедился, что даже из крайнего колодца овражек не простреливается, ясно, что наступать надо было так, как мы шли с Володей, прижимаясь к другому склону, в мертвом пространстве, не доступном автоматчикам, и, круто свернув, выскочить сюда. Вот в чем слабость немецкой позиции. Тут у них и была слабина. И он знал, знал об этом.

– Откуда ты знал? – спросил Володя.

– Полесьев мне говорил. Ведь вы же по этому оврагу и отходили в ту ночь. Вспоминаете?

Володя изобразил удивление.

– Совсем в другом месте мы отходили. Никакого оврага там не было. Верно?

Он посмотрел на меня, я закивал головой и сказал:

– Может быть, немцы все же как-то подстраховались, перекрыли овраг?

– Не было у них тут ничего. Да и где тут что поставить? Разве что проволокой загородились. А я не поверил Полесьеву.

Рязанцев не вытерпел, нарушил свое оскорбленное молчание:

– Немцы могли заминировать овраг.

Наш комбат. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru

– Когда? – спросил комбат. – Они вообще наши участки не минировали.

Мы и так и эдак разглядывали чертов этот овраг, и путь через него становился все более очевидным. Мы ничего не могли с собой поделаться, ужасно было подумать, как же мы не догадались использовать местность и перлись в лоб под огонь автоматчиков.

– Сейчас, в летний период, другой обзор, – не сдавался Рязанцев, – зимой овраг был скрыт снежным покровом.

– А от нас вообще ничего не разобрать, – убежденно сказал Володя. – Увидеть мы могли лишь сверху. С позиции господ бога. На том свете они, конечно, все видели.

– Снежный покров... – повторил комбат с надеждой, потом задумался. – Вряд ли. В декабре снегу было немного. Посдувало ветром. Это к Новому году навалило.

Он подождал наших вопросов, но мы молчали. Мы стали осторожными, своими вопросами мы только глубже залезли в эту трясиину.

– Если не поверил я Полесьеву, тогда надо было разведку послать, – сказал он. – Так нет же! Торопился. Дата подпирала.

– Вы тут ни при чем, в такое положение поставили... – И я бросил взгляд на Рязанцева.

– Намекаешь, – сказал тот, тяжело краснея. – Мое дело было предложить.

– Зачем? Никто с тебя не требовал. Сам усердствовал.

– А ты другую сторону учел? Моральный подъем какой получился. У тебя был моральный подъем? Был? Если по-честному?

То-то и оно, что был. Вот в чем сложность. И мне следовало помалкивать, потому что я ничем не лучше его и не имею никакого права...

– Бросьте вы, – сказал Володя. – Главное, что каждый действовал вполне честно.

– Нет, погоди, я по команде обратился, – добивался своего Рязанцев, – Елизаров был против, а потом он позвонил, что комбат – «за».

– Его заставили, – неуверенно сказал я.

– Никто меня не заставлял, – сказал комбат. – Я сам... – Он взмахнул стиснутой в кулаке шляпой, остановить его уже было невозможно. – Первый раз пошли – ладно, легкомыслие, ладно, торопился, а второй, а третий? При чем тут дата? Восемнадцать убитых, тридцать раненых.

Мы не желали этого слушать, мы еще сохраняли ему верность, но перед нами лежали буераки, по которым можно было бежать, карабкаться, не вжимаясь в землю, не обмирая перед свинцовым присвистом, не птясь распластанно... Облачность совсем истоньшала, порвалась, открывая высокое синее небо. Солнечные просветы ползли по траве, никак не отзываясь в нас. Я шел по этому оврагу вместе с Безуглым, с Сеней и Володей, пальцы обнимали тяжелую лимонку, пули свистели где-то наверху, мы выскакивали прямо сюда...

– А может, и не было раньше этого оврага... То есть не то что вовсе... – поправился Володя. – Размыло его за эти годы. Вот у Виктора шевелюру выветрило. У меня зубы... Да и у тебя, комбат... – Его нелегкое веселье приглашало покончить на этом, забыть, уехать в город, выпить, спеть.

И я тоже старался помочь ему, что было – то было, уж кто-кто, а мы-то честно воевали, мало ли что может выясниться, важно, что тогда комбат делал все, что мог, не щадил себя, и сколько других геройских дел мы совершили.

Комбат рассеянно кивал, и все смотрели на овраг.

Наш комбат. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru

– По кустам видно, – сказал он. – Овраг-то старый. – Он помотал головой, сморщился, как от сильной боли. – Как я мог... Как я мог... Что же теперь делать? – спросил он вполне серьезно, как будто можно было что-то исправить.

Он недоуменно потер лоб, оглядел нас.

– Вот вам и комбат.

Морщины все сильнее ветвились на его темном, ореховом лице. Он стоял перед нами, стареющий, седеющий человек, и невозможно было понять, с какой стати он должен отвечать за того – лихого, с фуражечкой набекрень. Где-то там был и я, в кожаных штанах, стянутых с убитого старшины, нахальный... Выходит, и я должен отвечать за поступки того парня? С какой стати? Он жил в другое время и по другим законам, я не имею права его судить.

– Послушай, чего ты добиваешься? – в ярости произнес Володя.

– Может, я рассчитывал: поскольку доты, овраг переключит? Так ведь не было дотов, – бормотал комбат.

– Ох ты господи! Объясните вы мне, что надо этому человеку!

Глаза комбата сузились в опасном прищуре.

– Не нравится? Вы уж простите, если испортил вам приятные воспоминания. Но давно меня это мучило. Да, да, профукал. Такую возможность упустил! Представляете, если б мы их вышибли отсюда... – Он зажмурился, мечтательно покачал головой из стороны в сторону. – Как я мог! Думаете, почему сюда тянуло? Я, когда эти колодцы нашел, ахнул... Смеюсь и чуть не плачу от обиды. А теперь еще и это. Одно к одному. – Он зябко поежился. – Что ж молчите? Ошибки надо анализировать. Не стесняться... – Взгляд его вдруг смягчился, что-то в нем появилось прежде: сочувствие, забота о нас? – Вы что же – выгораживаете меня! Вот тебе и на! А зачем? Вы поймите: не было никаких броневых плит, и колпаков не было. Не утешайте меня и себя. Я понимаю: боевые заслуги, атаки, активная оборона. А тут нате, преподнес – дотов нет, операции разведкой не подготовлены... Неграмотность. Сейчас любому комбату дайте эту задачу... Да, не сумели разгадать. Это мы потом научились. В Прибалтике целый полк провел у них под носом, сквозь щелку. И ахнуть не успели. А тут... Перехитрили нас. Да какие могут быть оправдания? Вы что хотите – чтобы я вроде Баскакова?

– А что Баскаков? При чем Баскаков? – уцепились мы.

– Ему хоть бы хны. Встретил его в Крыму. Кругленький, в белой панамке. Вспоминает всех с гордостью. Прослезился: как, говорит, все было прекрасно... – Он озадаченно повертел шейю, словно высвобождаясь из тесного воротничка. – Что ж, по-вашему, и я должен... Конечно, переделать нельзя, но передумать-то можно...

Действительно, что же ему – делать вид, что ничего не было? Отмахнуться? Хуже нет этих проклятых вопросов. Сколько раз за последние годы они появлялись передо мной: «Что я должен делать?» и сразу же: «А что я могу?» И затем: «Ну выступлю, ну скажу, а что от этого изменится?» Удобно. Вся штука в том, что, пока сам спрашиваешь себя, отвечать не обязательно. А когда тебя спрашивает другой? Нельзя эти вопросы произносить вслух. Что-то еще можно уладить, пока не сказано вслух. «Вот чего ты не любишь, – подумал я, – не любишь, когда вслух. С самим собой ладить ты умеешь, этому ты научился: жить, не ссорясь с собой». Но что изменится от того, что комбат будет рвать на себе рубаху? Ничего не изменится. Попробовал бы он признаться не нам, а ребятам, которые легли здесь... Извините, не учел неоправданные потери, ошибочка вышла. Что бы ему ответил Вася Ломоносов? Или Семен? Нет, бессмысленно, никому не нужна эта горечь. Говори не говори, ничего теперь не поправишь. Пусть все остается как было. Ну, конечно, пусть все остается гладенько и красиво, как в твоём очерке. А в моем очерке не было неправды, – откуда я мог знать, как оно обстояло на самом деле. А если б ты знал? Вот теперь знаешь – и что? Тебе и не нужна правда, в том-то и твоя хитрость. Тебе вполне хватает полуправды. Нет, если так рассуждать – любого можно обвинить. Нет, так не пойдет.

– Как в Библии, – сказал я вслух. – Пусть кинет камень тот, кто без греха.

Наш комбат. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
Володя меня сразу понял.

– И тем, кто без греха, не разрешу кидать. Неизвестно, как они сумели оказаться без греха.

Почему-то меня не обрадовала его поддержка. Что-то получалось у нас не то. Разговор иссяк. Снова промчалась электричка назад, к городу, освещенному сиянием. На горизонте тонко поблескивали шпили, синеватый знакомый профиль города струился в нагретом воздухе, как мираж. Таким он мечтался нам из окопов, а теперь он на самом деле такой. В конце концов, это же мы его отстояли. При всех наших промахах и неумелости. Мы. Ради этого все остальное можно простить.

Мне вдруг захотелось домой. Я вспомнил, что к жене приехала Инна, а к вечеру должны были подъехать Матвеевы, рассказать о симпозиуме в Обнинске. Мы будем сидеть за столом, пить чай, и среди разговора я, наверно, вспомню эту минуту под Пулковом и пожму плечами – стоило ли так переживать, кому это интересно...

– Пошли? – сказал я.

Рязанцев вздрогнул, очнулся, схватил меня за рукав:

– Минуточку. Что же получается? А я? – Голос его сорвался вскриком. – Кто ему право дал?! Я не согласен.

– А мне зачем твое согласие... Если б я на тебя сваливал.

– Ты подожди, ты мне сперва ответь: мы для тебя – кто? Свидетели? Между прочим, я тоже участник. Пусть я пенсионер, инвалид. Может, у меня больше и нет ничего. Инвалид Великой Отечественной. Боевое ранение. Я воевал, в атаки ходил. Что, я был плохой политрук?

– Ты был хороший политрук, – сказал комбат.

– Что же ты сделал со мной? Кто я теперь? Чего я инвалид? Твоей халатности? Да? На кой, извиняюсь за выражение, ты мне тут раскрывал. Я-то гордился: бывший политрук знаменитого батальона, какой у нас комбат был – полководец! Я с воспоминаниями выступал. Допустим, после войны у меня все кувырком, никаких особых достижений. Не имею заслуг. Но война у меня настоящий пункт биографии, никаких сомнений. Полное идейное оправдание жизни. Ты, значит, обнаружил, признался, очистился. А мне что прикажешь? Ты обо мне подумал? Ты мой командир, обязан ты... подумал, что ты у меня отобрал? Может, самое дорогое... Под конец жизни. Что у меня впереди? У меня позади все. Выходит, и позади под сомнением, наперекосьяк...

Крупная дрожь сотрясала его рыхлое тело. Он защищался, как мог. Он защищал и меня, и Володю, наше общее прошлое. Покушались на нашу навоеванную славу, которая не должна была зависеть от времени, ошибок и пересмотров. Она была навечно замурована в ледяной толще блокадной зимы, там мы оставались всегда молодыми, мы совершали бессмертные прекраснейшие дела нашей жизни, и все наши подвиги принадлежали легендам. Такой, какой была эта война тогда для нас, такой она и должна оставаться. С геройскими атаками, с лохмотьями обмороженных щек, с исступленной нашей верой, с клятвами и проклятиями...

Наше прошлое казалось недоступным и надежным, зачем же комбат портил его. Лучший из всех комбатов, умелый, бесстрашный, как Чапай, герой моего очерка, а выставил себя лопухом, не разобрался, угробил напрасно столько ребят, каких ребят! Совсем по-другому я видел, как мы поднимались под пулями, бежали вперед, проваливались в снег, кричали, подбадривали друг друга. Смелость наша поглупела, мы уже знали, что надо не так, и продолжали переть под автоматные очереди. Мы уже знали про овраг, и комбат знал и по-прежнему вел нас напрямую, в лоб, меня, и Сеню, и Рязанцева в желтой рубашке, потного, задыхающегося...

Шея Рязанцева багрово раздулась, на него страшно было смотреть, мы успокаивали его, он шарил рукой, не попадал в прорезь кармана. Володя помог ему, достал валидол.

Рязанцев закрыл глаза. Мы не глядели на комбата.

Наш комбат. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
К машине возвращались медленно, Володя придерживал Рязанцева под руку, комбат шел сзади. Не доходя до шоссе, остановились передохнуть. Рязанцев сконфуженно извинился:

– Нервы... нельзя мне... Ничего, вы не обращайтесь...

– Нехорошо получилось, – сказал Володя.

Комбат стоял в мелком ручье и морщась смотрел, как вода билась у его ботинок.

– Что ж вы так? Я считал, что вам следует знать. Нам всем. А выходит, вам ни к чему.

– И тебе ни к чему, – твердо сказал Володя. – Если бы да кабы, так многое можно пересмотреть. И что это меняет? Мы шли под пулями, не трусили, ты впереди...

– Да разве в этом дело? Разобраться надо, чего вы боитесь... – В тихом голосе его было удивление.

Володя строго смотрел на него:

– Жалеть надо друг друга. Свои ведь... А ты, Виктор, не переживай. Тут тысячи вариантов. Гадать можно по-всякому. Про колодцы – и то нельзя наверняка. Верно, комбат?

Комбат молчал, глядя под ноги.

– И овраг, возможно, у них артиллерией был прикрыт. Дальнобойной. Вполне возможно.

Комбат поднял было голову и снова пригнул ее.

– А что? Абсолютно реальный шанс, – настаивал Володя. – Согласен?

– Может быть, – выдавил комбат.

– Видите. Так что ты, Витя, выше нос! Никто пути пройденного у нас не отберет!

Рязанцев пригладил волосы, он держался кротко, всепрощающе.

– Обидно, конечно. Ведь себя не щадили... Тем более – раз достоверно нельзя считать...

– По нулям, – сказал Володя. – Инцидент исчерпан. Забыть и растереть.

Я ждал, что ответит комбат. Не могло же так кончиться. Мы сели в машину, Рязанцев впереди, рядом с Володей, затем комбат; мы следили, как он садится, словно конвойные или почетный эскорт. Он уселся послушно, прямоенько, машина тронулась, и он все молчал и потирал лоб, как будто не понимая, что произошло. У Пулкова шоссе свернуло к городу, участок нашего батальона остался позади, деревья, дома, заборы торопливо прикрывали его. Я понял, что все, больше уже ничего не будет, можно не беспокоиться, комбат наш остается на пьедестале, и мы у подножия, вокруг него, как на памятнике Екатерине, верные его сподвижники. Он останется хотя бы ради нас, не можем же мы сидеть, если наверху никого не будет. То, что было, – свяшенно, никакие колодцы не меняют главного, и никто ни в чем не виноват. Нельзя разрешать, чтобы кто-то был виноват, в крайнем случае мы разделим вину по-братски, все немножко виноваты. Когда виноваты все, некого судить.

Мы сидели раздвинувшись, и я ощущал свой висок под его взглядом. Каким он видел меня сейчас? Что у меня на лице? Я пытался представить себя со стороны – ничего не получалось. И так всю жизнь, никогда не можешь увидеть себя самого, движение лица, походку, жесты. Впрочем, так бывало, и отчетливо, в момент какого-то поступка. А если нет поступков? Если одни рассуждения и размышления. И наблюдения. И потом оценки и переоценки...

Приближался город. Машина, покачивая, уносила нас прочь от того одичалого поля, которое давно пора застроить, колодцы завалить, засыпать окопы, – не надо нам

Наш комбат. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
этих укоров, нам достаточно памятников, могил и действительно хороших воспоминаний. Какого черта, когда мы можем рассказать друг другу о том, как мы громили фашистов, какие мы устраивали окружения, клещи, освобождали Прагу, про то, как мы входили в Восточную Пруссию.

Сонно урчал мотор, в машине было тепло, мы двигались навстречу нашим женам, квартирам, работе и нашему расставанию с приятными словами и обещаниями. «А поезд уходит, – вспомнилось мне. – Ты слышишь, уходит поезд, сегодня и ежедневно».

Это были слова из одной славной песни; очевидно, никто не знал ее, даже Володя не знал, но мне кажется, что они сразу поняли, что это за поезд, потому что все промолчали. Впрочем, я не уверен, что сказал про поезд вслух, я только слышал, как мы все молчим и машина набирает скорость после перекрестков. Каждый из нас мог сойти в любую секунду. Машина одолевала краткий промежуток между прошлым и будущим, и я вдруг почувствовал, что это тот миг, который дается для выбора. Или – или. Ничто, никакие оценки потом не заменят мне ни упущенного, ни совершенного. То, что есть сейчас, не повторится никогда. Поезд уйдет, это не страница рукописи, которую можно переписать.

– Артиллерия, – я откашлялся, – по оврагу артиллерия никогда не стреляла. Овраг не был пристрелян. Мы все это знаем. Чего же притворяться?

– Кстати, насчет обоев, – сказал Володя. – Мы тоже собрались ремонт делать.

– Устроим, – сказал Рязанцев. – И тебе, и комбату. Чего другого, а тут я могу.

– Звуконепроницаемые, – громче сказал я, – кислотоупорные, прозрачные, ароматные. Послушай, Рязанцев, говорят, ложь бывает гуманной, но если человек знает, что ему врут, тогда как, ему все же легче? Пора же о боге подумать. Ну да, бога нет, но все равно дело идет к отчету. Чего вы испугались? Правды? Но ты-то, Володя, когда мы с тобой тут ползли, ты ж ни черта не боялся...

– Помолчи! – скомандовал Володя не оборачиваясь, и в зеркальце отразились его глаза; я не знал, что у него могут быть такие металлические глаза. А он, по законам оптики, видел в том же зеркальце мои глаза и, может, тоже не узнавал их.

– Нет, не буду молчать! – с наслаждением сказал я. – Прикидываешься, что ты остался таким же! – Я чувствовал, что иду вразнос, безоглядный, блаженный разнос. – Нет, ты другой. И комбат другой. Только теперь ты боишься идти за комбатом. Потому что сейчас нужна другая смелость. По-твоему, комбат замахнулся на наше прошлое? Эх, ты! Да разве правда может напортить. Зачем нам украшать! Да, в тот раз мы промахнулись, не сообразили, не умели и все же выстояли, и ничего у немца не вышло. Без иллюзий еще прекрасней все остается, зря вы струхнули, забеспокоились. Факт, мы виноваты, мы прошляпили этот овраг. «Аппендицит» можно было взять. Не сообразили мы – что к чему. Мы проскочили бы по оврагу, и тебя, Рязанцев, может, и не контузило... Но это же надо знать. Ведь если снова идти на «аппендицит»... А ведь нам придется. Ну, может, не в смысле военном, но все равно...

Володя нервно крутанул баранку, выругался, сбоку грузовик взвизгнул тормозами.

– Из-за тебя, псих... чего ты несешь? Тоже мне обличитель! Хочешь, я тебя сейчас – наповал? Тогда в декабре или, нет, в январе, в марте, если бы ты узнал то же самое, стал бы вопить об этом? Нет. Чтобы комбата не подвести. Так что заткнись.

– А я лично не реагирую на подобные выпады, – с высоты небесной сообщил Рязанцев. – Но комбата мы не позволим дискредитировать. Это никому не удастся.

– Особенно после такого очерка, – едко заключил Володя.

Они говорили не оборачиваясь, два затылка, две спины, уверенные в наводимом позади порядке.

– Да, тогда, в январе, я бы промолчал. Ну и что? И очерк мой дерьмо, – не так-то легко мне было произнести эти слова. Я вспомнил, сколько я переписывал этот очерк и сколько он мне потом доставил радости. – Дерьмовый очерк, – повторил я. – Потому что не понимал, что комбат может ошибаться.

– У нас был отличный комбат, – с силой сказал Володя.

Я посмотрел на комбата – морщины проступали на его темном лице, как немая карта. Видно было, до чего ему сейчас трудно. Может, труднее, чем в ту зиму. Сам он мог говорить о себе что угодно, он один мог судить себя. Одного из тех, которые талантом своим творили победу. Снова он полз по дну оврага, сидящая голова его была в снегу, пули нежно насвистывали где-то в вышине, он оглядывался, а мы залегли, мы оставили его одного, но он все равно карабкался, волоча автомат и авоську с плащом... Я положил ему руку на колено:

– Вы были вовсе не такой хороший комбат. Только теперь вы стали настоящим комбатом. Вы все же взяли «аппендицит». Пусть через двадцать лет.

Нога его отстранилась, и он сказал с неожиданной злостью:

– Опять я хорош. Виноват – хорош, не виноват – хорош. Выгодно, выходит, признаваться.

Слова его поразили меня, а Володя расхохотался:

– Получил? – Ему очень хотелось обернуться, посмотреть на нас.

Я откинулся на спинку сиденья. Незаслуженная обида вспыхнула во мне. Володя и Рязанцев беззвучно ликовали и потешались, но я чувствовал, что это больше над комбатом, чем надо мной. Что-то неуловимо изменилось, он перестал быть опасным, они отнеслись к нему покровительственно: наивный человек – отказаться от помощи, оттолкнуть единственного союзника, все себе испортить. А я, они считали, вынужден теперь присоединиться к ним, куда же мне еще деваться?

Один комбат ничего не замечал. Он близоруко согнулся над своей измятой схемой, водил по бумаге пальцем, допытываясь и обличая. Он был сейчас и подсудимый, и судья, он учитывал на своем суде и Володю, и Рязанцева, и меня, и обоих комбатов – того, молоденького, в фуражечке, и этого, в галстучке, с авоськой, и, может, других комбатов, которые существовали когда-то между этими двумя.

У Казанского собора Рязанцев сошел, долго примиренно прощался, просил не забывать его. Он обещал комбату сообщить про обои, утешающе похлопал его по плечу, потом отвел меня в сторону:

– Ты как считаешь, на вечере встречи он тоже... все это...

Я посмотрел на комбата. Он распрямылся, мне показалось, он стал выше и лицо у него было другое, каждая черточка прорисована четко, со значением, как на старинных портретах, и костюм его перестал выглядеть старомодным, просто это был костюм из другой эпохи, так же привлекательный, как доспехи, ментики, камзолы. И осанка чем-то напоминала фигуру Барклай де Толли, памятник на фоне колоннады, твердое темное лицо его, и плащ, – и русских офицеров, их нелегкие законы чести, безгласный суд, которым они сами судили себя, приговаривая себя... Я позавидовал его одиночеству. Давно я не оставался в таком одиночестве. Отвык я от его неуютных правил – делать свое дело по совести, не объясняя своей правоты, не ища сочувствия.

– Да, он, конечно, может... – сказал я Рязанцеву.

– Как же быть тогда? – озабоченно спросил Рязанцев.

..Машина шла по Невскому, где-то позади остался встревоженный Рязанцев, скоро и мне надо было выходить. Я не знал, что сказать комбату на прощанье. Он тоже сидел озабоченный, ему тоже предстояло что-то решать и делать. И в себе я чувствовал эту озабоченность. Если бы мы служили в армии, тогда все было бы проще. На предстоящих учениях учтем. Научим курсантов. Или если бы мы писали военную историю. Комбату, пожалуй, легче, он учитель, а кроме того, он остается комбатом, вот в чем штука...

У Владимирского я увидел свою жену вместе с Инной, они возвращались с рынка. Мы

Наш комбат. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
остановились и вышли из машины.

– Как вы съездили? – спросила жена.

– Отлично, – сказал Володя. – Все было о'кей!

– Бедняжки, вы же промокли, – сказала Инна.

– Не считается, – Володя засмеялся, щурясь на ее золотые волосы, и она тоже засмеялась.

– А это наш комбат, – сказал я.

Он неловко и безразлично улыбался, держа свою авоську с плащом, голубенький галстук топорщился, грязные широкие брюки мокро обвисли, вид у него был истерзанный, как после схватки, и никто не знал, что он победитель.

– Я представляла вас совсем другим, – разочарование прорвалось в голосе моей жены, но она ловко вышла из положения. – Знаменитых людей всегда представляешь иначе. – Она поискала, что бы еще добавить приятное, и, не найдя, обратилась к Володе, заговорила про его песни – она давно хотела его послушать. Комбат посмотрел на меня.

– Обиделся?

Я кивнул и понял, как глупо было обижаться. Пока женщины и Володя разговаривали, мы с комбатом смотрели друг на друга. Забытая, явно не медицинская, боль сдавила мне сердце. Откуда-то возник жаркий августовский день, лесная заросшая узкоколейка, отец, еще крепкий, шагающий рядом по шпалам, желтый складной метр в кармане его холщовой куртки. Дорога свернула, и мы вошли в березовую рощу. Огромные белые березы обступили нас. Воздух сквозил, легкий и пятнистый. Я замер, пораженный этой доверчивой, нетронутой белизной. Сколько мне тогда было? – лет четырнадцать. Я никак не мог понять, почему красота способна причинять такую боль, сладкую неразбериху, мучительную до стыдных слез.

– Обязательно приду, – сказал Володя. – Готовьте коньяк.

Комбат протянул мне руку.левой рукой он снял шляпу, густые волосы его поднялись, серебристый отсвет упал на лицо. Рука его была сильной и твердой. Он сжал мои пальцы, и я ответно пожал ему руку, так, чтобы он знал, что я все понял... Губы его дрогнули, но усмешка не получилась, и он чуть заметно поклонился мне.

Они сели в машину. Володя помахал женщинам, отдельно Инне, и они уехали.

– Ты жалеешь, что съездил? – спросила жена. – Но ты ведь был готов. Ты и не ждал ничего хорошего.

– Зато твой Володя прелесть, – сказала Инна. – А этот, представляю, наверно, все о своих заслугах. Хотя видно, что был красивый мужчина.

– Не огорчайся, – сказала жена. – Мало ли как люди меняются с годами. Что тебе, впервой?

– Господи, да если б я мог стать таким, как комбат, – сказал я. – Если б мне хватило сил...

Я взял у жены сумку, и мы пошли домой. На Владимирском и на Невском – всюду стояли высокие белые березы, прохладные березовые рощи. Звуки города исчезали, было тихо, только наверху, в кронах, тревожно посвистывали пули.

1968

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://granikdaniel.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> философия, философы мира, философские течения. Биография

Наш комбат. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
<http://dostoevskiyfyodor.ru/>
сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!